Окаянные дни

Автор:
Иван Бунин

Окаянные дни

Иван Алексеевич Бунин

Окаянные дни #2

«Летний вечер, ямщицкая тройка, бесконечный пустынный большак…». Бунинскую музыку прозаического письма не спутаешь ни с какой другой, в ней живут краски, звуки, запахи… Бунин не писал романов. Но чисто русский и получивший всемирное признание жанр рассказа или небольшой повести он довел до совершенства. В эту книгу вошли автобиографическая повесть «Жизнь Арсеньева», рассказы разных лет; пронизанные горечью и болью за судьбу России «Окаянные дни» и «Воспоминания» – о Репине, Рахманинове, Шаляпине, Толстом…

Иван Бунин

Окаянные дни

Москва, 1918 г.

1 января (старого стиля)

Кончился этот проклятый год. Но что дальше? Может, нечто еще более ужасное. Даже наверное так.

А кругом нечто поразительное: почти все почему-то необыкновенно веселы, – кого ни встретишь на улице, просто сияние от лица исходит:

– Да полно вам, батенька! Через две-три недели самому же совестно будет…

Бодро, с веселой нежностью (от сожаления ко мне, глупому) тиснет руку и бежит дальше.

Нынче опять такая же встреча – Сперанский из «Русских Ведомостей». А после него встретил в Мерзляковском старуху. Остановилась, оперлась на костыль дрожащими руками и заплакала:

– Батюшка, возьми ты меня на воспитание! Куда же нам теперь деваться? Пропала Россия, на тринадцать лет, говорят, пропала!

7 января

Был на заседании «Книгоиздательства писателей» – огромная новость: «Учредительное Собрание» разогнали!

О Брюсове: все левеет, «почти уже форменный большевик». Неудивительно. В 1904 году превозносил самодержавие, требовал (совсем Тютчев!) немедленного взятия Константинополя. В 1905 появился с «Кинжалом» в «Борьбе» Горького. С начала войны с немцами стал ура-патриотом. Теперь большевик.

5 февраля

С первого февраля приказали быть новому стилю. Так что по-ихнему нынче уже восемнадцатое.

Вчера был на собрании «Среды». Много было «молодых». Маяковский, державшийся, в общем, довольно пристойно, хотя все время с какой-то хамской независимостью, щеголявший стоеросовой прямотой суждений, был в мягкой рубахе без галстука и почему-то с поднятым воротником пиджака, как ходят плохо бритые личности, живущие в скверных номерах, по утрам в нужник.

Читали Эренбург, Вера Инбер. Саша Койранский сказал про них:

Завывает Эренбург,

Жадно ловит Инбер клич его, —

Ни Москва, ни Петербург

Не заменят им Бердичева.

6 февраля

В газетах – о начавшемся наступлении на нас немцев. Все говорят: «Ах, если бы!»

Ходили на Лубянку. Местами «митинги». Рыжий, в пальто с каракулевым круглым воротником, с рыжими кудрявыми бровями, с свежевыбритым лицом в пудре и с золотыми пломбами во рту, однообразно, точно читая, говорит о несправедливостях старого режима. Ему злобно возражает курносый господин с выпуклыми глазами. Женщины горячо и невпопад вмешиваются, перебивают спор (принципиальный, по выражению рыжего) частностями: торопливыми рассказами из своей личной жизни, долженствующими доказать, что творится черт знает что. Несколько солдат, видимо, ничего не понимают, но, как всегда, в чем-то (вернее, во всем) сомневаются, подозрительно покачивают головами.

Подошел мужик, старик с бледными вздутыми щеками и седой бородой клином, которую он, подойдя, любопытно всунул в толпу, воткнул между рукавов двух каких-то все время молчавших, только слушавших господ: стал внимательно слушать, но тоже, видимо, ничего не понимая, ничему и никому не веря. Подошел высокий синеглазый рабочий и еще два солдата с подсолнухами в кулаках. Солдаты оба коротконоги, жуют и смотрят недоверчиво и мрачно. На лице рабочего играет злая и веселая улыбка, пренебрежение, стал возле толпы боком, делая вид, что он приостановился только на минуту, для забавы: мол, заранее знаю, что все несут чепуху.

Дама поспешно жалуется, что она теперь без куска хлеба, имела раньше школу, а теперь всех учениц распустила, так как их нечем кормить:

– Кому же от большевиков стало лучше? Всем стало хуже и первым делом нам же, народу!

Перебивая ее, наивно вмешалась какая-то намазанная сучка, стала говорить, что вот-вот немцы придут, и всем придется расплачиваться за то, что натворили.

– Раньше, чем немцы придут, мы вас всех перережем, – холодно сказал рабочий и пошел прочь.

Солдаты подтвердили: «Вот это верно!» – и тоже отошли.

О том же говорили и в другой толпе, где спорили другой рабочий и прапорщик. Прапорщик старался говорить как можно мягче, подбирая самые безобидные выражения, стараясь воздействовать логикой. Он почти заискивал, и все-таки рабочий кричал на него:

– Молчать побольше вашему брату надо, вот что! Нечего пропаганду по народу распускать!

К. говорит, что у них вчера опять был Р. Сидел четыре часа и все время бессмысленно читал чью-то валявшуюся на столе книжку о магнитных волнах, потом пил чай и съел весь хлеб, который им выдали. Он по натуре кроткий, тихий и уж совсем не нахальный, а теперь приходит и сидит без всякой совести, поедает весь хлеб с полным невниманием к хозяевам. Быстро падают люди!

Блок открыто присоединился к большевикам. Напечатал статью, которой восхищается Коган (П. С.). Я еще не читал, но предположительно рассказал ее содержание Эренбургу – и, оказалось, очень верно. Песенка-то вообще не хитрая, а Блок человек глупый.

Из Горьковской «Новой Жизни»:

«С сегодняшнего дня даже для самого наивного простеца становится ясно, что не только о каком-нибудь мужестве и революционном достоинстве, но даже о самой элементарной честности применительно к политике народных комиссаров говорить не приходится. Перед нами компания авантюристов, которые ради собственных интересов, ради промедления еще на несколько недель агонии своего гибнущего самодержавия, готовы на самое постыдное предательство интересов родины и революции, интересов российского пролетариата, именем которого они бесчинствуют на вакантном троне Романовых».

Из «Власти Народа»:

«Ввиду неоднократно наблюдающихся и каждую ночь повторяющихся случаев избиения арестованных при допросе в Совете Рабочих Депутатов, просим Совет Народных Комиссаров оградить от подобных хулиганских выходок и действий…» Это жалоба из Боровичей.

Из «Русского Слова»:

Тамбовские мужики, села Покровского, составили протокол:

«30-го января мы, общество, преследовали двух хищников, наших граждан Никиту Александровича Булкина и Адриана Александровича Кудинова.

По соглашению нашего общества они были преследованы и в тот же момент убиты».

Тут же выработано было этим «обществом» и своеобразное уложение о наказаниях за преступления:

– Если кто кого ударит, то потерпевший должен ударить обидчика десять раз.

– Если кто кого ударит с поранением или со сломом кости, то обидчика лишить жизни.

– Если кто совершит поджог и будет обнаружен, то лишить того жизни.

Вскоре были захвачены с поличным два вора. Их немедленно «судили» и приговорили к смертной казни. Сначала убили одного: разбили голову безменом, пропороли вилами бок и мертвого, раздев догола, выбросили на проезжую дорогу. Потом принялись за другого…

Подобное читаешь теперь каждый день.

На Петровке монахи колют лед. Прохожие торжествуют, злорадствуют:

– Ага! Выгнали! Теперь, брат, заставят!

Во дворе одного дома на Поварской солдат в кожаной куртке рубит дрова. Прохожий мужик долго стоял и смотрел, потом покачал головой и горестно сказал:

– Ах, так твою так! Ах, дезелтир, так твою так! Пропала Рассея!

7 февраля

Во «Власти Народа» передовая: «Настал грозный час – гибнет Россия и Революция. Все на защиту революции, так еще недавно лучезарно сиявшей миру!» – Когда она сияла, глаза ваши бесстыжие?

В «Русском Слове»: «Убит бывший начальник штаба генерал Янушкевич. Он был арестован в Чернигове и по распоряжению местного революционного трибунала препровождался в Петроград в Петропавловскую крепость. В пути генерала сопровождали два красногвардейца. Один из них ночью четырьмя выстрелами убил его, когда поезд подходил к станции Оребеж».

Еще по-зимнему блестящий снег, но небо синеет ярко, по-весеннему, сквозь облачные сияющие пары.

На Страстной наклеивают афишу о бенефисе Яворской. Толстая розово-рыжая баба, злая и нахальная, сказала:

– Ишь, расклеивают! А кто будет стены мыть? А буржуи будут ходить по театрам! Им запретить надо ходить по театрам. Мы вот не ходим. Все немцами пугают – придут, придут, а вот что-й-то не приходят!

По Тверской идет дама в пенсне, в солдатской бараньей шапке, в рыжей плюшевой жакетке, в изорванной юбке и в совершенно ужасных калошах.

Много дам, курсисток и офицеров стоят на углах улиц, продают что-то.

В вагон трамвая вошел молодой офицер и, покраснев, сказал, что он «не может, к сожалению, заплатить за билет».

Перед вечером. На Красной площади слепит низкое солнце, зеркальный, наезженный снег. Морозит. Зашли в Кремль. В небе месяц и розовые облака. Тишина, огромные сугробы снега. Около артиллерийского склада скрипит валенками солдат в тулупе, с лицом, точно вырубленным из дерева. Какой ненужной кажется теперь эта стража!

Вышли из Кремля – бегут и с восторгом, с неестественными ударениями кричат мальчишки:

– Взятие Могилева германскими войсками!

8 февраля

Андрей (слуга брата Юлия) все больше шалеет, даже страшно.

Служит чуть не двадцать лет и всегда был неизменно прост, мил, разумен, вежлив, сердечен к нам. Теперь точно с ума спятил. Служит еще аккуратно, но, видно, уже через силу, не может глядеть на нас, уклоняется от разговоров с нами, весь внутренно дрожит от злобы, когда же не выдерживает молчания, отрывисто несет какую-то загадочную чепуху.

Нынче утром, когда мы были у Юлия, Н. Н. говорил, как всегда, о том, что все пропало, что Россия летит в пропасть. У Андрея, ставившего на стол чайный прибор, вдруг запрыгали руки, лицо залилось огнем:

– Да, да, летит, летит! А кто виноват, кто? Буржуазия! И вот увидите, как ее будут резать, увидите! Вспомните тогда вашего генерала Алексеева!

Юлий спросил:

– Да вы, Андрей, хоть раз объясните толком, почему вы больше всего ненавидите именно его?

Андрей, не глядя на нас, прошептал:

– Мне нечего объяснять… Вы сами должны понять…

– Но ведь неделю тому назад вы горой стояли за него. Что же случилось?

– Что случилось? А вот погодите, поймете…

Приехал Дерман, критик, – бежал из Симферополя. Там, говорит, «неописуемый ужас», солдаты и рабочие «ходят прямо по колено в крови». Какого-то старика полковника живьем зажарили в паровозной топке.

9 февраля

Вчера были у Б. Собралось порядочно народу – и все в один голос: немцы, слава Богу, продвигаются, взяли Смоленск и Бологое.

Утром ездил в город.

На Страстной толпа.

Подошел, послушал. Дама с муфтой на руке, баба со вздернутым носом. Дама говорит поспешно, от волнения краснеет, путается:

– Это для меня вовсе не камень, – поспешно говорит дама, – этот монастырь для меня священный храм, а вы стараетесь доказать…

– Мне нечего стараться, – перебивает баба нагло, – для тебя он освящен, а для нас камень и камень! Знаем! Видали во Владимире! Взял маляр доску, намазал на ней, вот тебе и Бог. Ну и молись ему сама.

– После этого я с вами и говорить не желаю.

– И не говори!

Желтозубый старик с седой щетиной на щеках спорит с рабочим:

– У вас, конечно, ничего теперь не осталось, ни Бога, ни совести, – говорит старик.

– Да, не осталось.

– Вы вон пятого мирных людей расстреливали.

– Ишь ты! А как вы триста лет расстреливали?

На Тверской бледный старик генерал в серебряных очках и в черной папахе что-то продает, стоит робко, скромно, как нищий…

Как потрясающе быстро все сдались, пали духом!

Слухи о каких-то польских легионах, которые тоже будто бы идут спасать нас. Кстати, – почему именно «легион»? Какое обилие новых и все высокопарных слов! Во всем игра, балаган, «высокий» стиль, напыщенная ложь…

Жены всех этих с.с., засевших в Кремле, разговаривают теперь по разным прямым проводам совершенно как по своим домашним телефонам.

19 февраля [1 - Очевидно, опечатка. (Ред.)]

«Мир, мир, а мира нет. Между народом Моим находятся нечестивые; сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. И народ Мой любит это. Слушай, земля: вот Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их».

Это из Иеремии, – все утро читал Библию. Изумительно. И особенно слова: «И народ Мой любит это… вот, Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их».

Потом читал корректуру своей «Деревни» для горьковского книгоиздательства «Парус». Вот связал меня черт с этим заведением! А «Деревня» вещь все-таки необыкновенная. Но доступна только знающим Россию. А кто ее знает?

Потом просматривал (тоже для «Паруса») свои стихи за 16 год.

Хозяин умер, дом забит,

Цветет на стеклах купорос.

Сарай крапивою зарос.

Варок, давно пустой, раскрыт

И по хлевам чадит навоз…

Жара, страда… Куда летит

Через усадьбу шалый пес?

Это я писал летом 16 года, сидя в Васильевском, предчувствуя то, что в те дни предчувствовалось, вероятно, многими, жившими в деревне, в близости с народом.

Летом прошлого года это осуществилось полностью:

Вот рожь горит, зерно течет,

Да кто же будет жать, вязать?

Вот дым валит, набат гудет,

Да кто ж решится заливать?

Вот встанет бесноватых рать

И, как Мамай, всю Русь пройдет…

До сих пор не понимаю, как решились мы просидеть все лето 17-го года в деревне и как, почему уцелели наши головы!

«Еще не настало время разбираться в русской революции беспристрастно, объективно…» Это слышишь теперь поминутно. Беспристрастно! Но настоящей беспристрастности все равно никогда не будет. А главное: наша «пристрастность» будет ведь очень и очень дорога для будущего историка. Разве важна «страсть» только «революционного народа»? А мы-то что ж, не люди, что ли?

Вечером на «Среде». Читал Ауслендер – что-то крайне убогое, под Оскара Уайльда. Весь какой-то дохлый, с высохшими темными глазами, на которых золотой отблеск, как на засохших лиловых чернилах.

Немцы будто бы не идут, как обычно идут на войне, сражаясь, завоевывая, а «просто едут по железной дороге» – занимать Петербург. И совершится это будто бы через 48 часов, не более не менее.

В «Известиях» статья, где «Советы» сравниваются с Кутузовым. Более наглых жуликов мир не видал.

14 февраля

Несет теплым снегом.

В трамвае ад, тучи солдат с мешками – бегут из Москвы, боясь, что их пошлют защищать Петербург от немцев.

Все уверены, что занятие России немцами уже началось. Говорит об этом и народ: «Ну, вот немец придет, наведет порядок».

Как всегда, страшное количество народа возле кинематографов, жадно рассматривают афиши. По вечерам кинематографы просто ломятся. И так всю зиму.

У Никитских Ворот извозчик столкнулся с автомобилем, помял ему крыло. Извозчик, рыжебородый великан, совершенно растерялся:

– Простите, ради Бога, в ноги поклонюсь!

Шофер, рябой, землистый, строг, но милостив:

– Зачем в ноги? Ты такой же рабочий человек, как и я. Только в другой раз смотри не попадайся мне!

Чувствует себя начальником, и недаром. Новые господа.

Газеты с белыми колонками – цензура. Муралов «выбыл» из Москвы.

Извозчик возле «Праги» с радостью и смехом:

– Что ж, пусть приходит. Он, немец-то, и прежде все равно нами владел. Он уж там, говорят, тридцать главных евреев арестовал. А нам что? Мы народ темный. Скажи одному «трогай», а за ним и все.

15 февраля

После вчерашних вечерних известий, что Петербург уже взят немцами, газеты очень разочаровали. Все те же призывы «встать, как один, на борьбу с немецкими белогвардейцами».

Луначарский призывает даже гимназистов записываться в красную гвардию, «бороться с Гинденбургом».

Итак, мы отдаем немцам 35 губерний, на миллионы пушек, броневиков, поездов, снарядов…

Опять несет мокрым снегом. Гимназистки идут облепленные им – красота и радость. Особенно была хороша одна – прелестные синие глаза из-за поднятой к лицу меховой муфты… Что ждет эту молодость?

К вечеру все по-весеннему горит от солнца. На западе облака в золоте. Лужи и еще не растаявший белый, мягкий снег.

16 февраля

Вчера вечером у Т. Разговор, конечно, все о том же – о том, что творится. Все ужасались, один Шмелев не сдавался, все восклицал:

– Нет, я верю в русский народ!

Нынче все утро бродил по городу. Разговор двух прохожих солдат, бодрый, веселый:

– Москва, брат, теперь ни… не стоит.

– Теперь и провинция ни… не стоит.

– Ну, вот немец придет, наведет порядок.

– Конечно. Мы все равно властью не пользуемся. Везде одни рогатые.

– А не будь рогатых, гнили бы мы теперь с тобой в окопах…

В магазине Белова молодой солдат с пьяной, сытой мордой предлагал пятьдесят пудов сливочного масла и громко говорил:

– Нам теперь стесняться нечего. Вон наш теперешний главнокомандующий Муралов такой же солдат, как и я, а на днях пропил двадцать тысяч царскими.

Двадцать тысяч! Вероятно, восторженное создание хамской фантазии. Хотя, черт его знает, – может, и правда.

В четыре часа в Художественном Кружке собрание журналистов – «выработка протеста против большевистской цензуры». Председательствовал Мельгунов. Кускова призывала в знак протеста совсем не выпускать газет. Подумаешь, как это будет страшно большевикам! Потом все горячо уверяли друг друга, что большевики доживают последние часы. Уже вывозят из Москвы свои семьи. Фриче, например, уже вывез.

Говорили про Саликовского:

– Да, вы только подумайте! И журналист-то был паршивый, но вот эта смехотворная Рада, и Саликовский – киевский генерал-губернатор!

Возвращались с Чириковым. У него самые достоверные и новейшие сведения: генерал Каменев застрелился; на Поварской – главный немецкий штаб; жить на ней очень опасно, потому что здесь будет самый жаркий бой; большевики работают в контакте с монархистами и тузами из купцов; по согласию с Мирбахом, решено избрать на царство Самарина… С кем же в таком случае будет жаркий бой?

Ночью

Простясь с Чириковым, встретил на Поварской мальчишку-солдата, оборванного, тощего, паскудного и вдребезги пьяного. Ткнул мне мордой в грудь и, отшатнувшись назад, плюнул на меня и сказал:

– Деспот, сукин сын!

Сейчас сижу и разбираю свои рукописи, заметки – пора готовиться на юг, – как раз нахожу кое-какие доказательства своего «деспотизма». Вот заметка 22 февраля 15 года:

– Наша горничная Таня, видимо, очень любит читать. Вынося из-под моего письменного стола корзину с изорванными черновиками, кое-что отбирает, складывает и в свободную минуту читает – медленно, с тихой улыбкой на лице. А попросить у меня книжку боится, стесняется… Как жестоко, отвратительно мы живем!

Вот зима 16 г. в Васильевском:

– Поздний вечер, сижу и читаю в кабинете, в старом спокойном кресле, в тепле и уюте, возле чудесной старой лампы. Входит Марья Петровна, подает измятый конверт из грязно-серой бумаги:

– Прибавить просит. Совсем бесстыжий стал народ. Как всегда, на конверте ухарски написано лиловыми чернилами рукой измалковского телеграфиста: «Нарочному уплатить 70 копеек». И, как всегда, карандашом и очень грубо цифра семь исправлена на восемь: исправляет мальчишка этого самого «нарочного», то есть измалковской бабы Махоточки, которая возит нам телеграммы. Встаю и иду через темную гостиную и темную залу в прихожую. В прихожей, распространяя крепкий запах овчинного полушубка, смешанный с запахом избы и мороза, стоит закутанная заиндевевшей шалью, с кнутом в руке, небольшая баба.

– Махоточка, опять приписала за доставку? И еще прибавить просишь?

– Барин, – отвечает Махоточка, деревянным с морозу голосом, – ты глянь, дорога-то какая. Ухаб на ухабе. Всю душу выбило. Опять же стыдь, мороз, коленки с пару зашлись. Ведь двадцать верст туда и назад…

С укоризной качаю головой, потом сую Махоточке рубль. Проходя назад по гостиной, смотрю в окна: ледяная месячная ночь так и сияет на снежном дворе. И тотчас же представляется необозримое светлое поле, блестящая ухабистая дорога, промерзлые розвальни, стукающие по ней, мелко бегущая бокастая лошаденка, вся обросшая изморозью, с крупными, серыми от изморози ресницами… О чем думает Махоточка, сжавшись от холоду и огненного ветра, привалившись боком в угол передка?

В кабинете разрываю телеграмму: «Вместе со всей Стрельной пьем славу и гордость русской литературы!» Вот из-за чего двадцать верст стукалась Махоточка по ухабам.

17 февраля

Вчера журналисты в один голос говорили, что не верят, что мир с немцами действительно подписан.

– Не представляю себе, – говорил А. А. Яблоновский, – не представляю подпись Гогенцоллерна рядом с подписью Бронштейна!

Нынче был в доме Зубова (на Поварской). Там Коля разбирает какие-то книги. Совсем весна, очень ярко от снега и солнца – в ветвях берез, сине-голубое, оно особенно хорошо.

В половине пятого на Арбатской площади, залитой ярким солнцем, толпы народа рвут из рук газетчиков «Вечерние Новости»: мир подписан!

Позвонил во «Власть Народа»: правда ли, что подписан? Отвечают, что только что звонили в «Известия» и что оттуда твердый ответ: да, подписан.

Вот тебе и «не представляю».

18 февраля

Утром собрание в «Книгоиздательстве писателей». До начала заседания я самыми последними словами обкладывал большевиков. Клестов-Ангарский, – он уже какой-то комиссар, – ни слова.

На стенах домов кем-то расклеены афиши, уличающие Троцкого и Ленина в связи с немцами, в том, что они немцами подкуплены. Спрашиваю Клестова:

– Ну, а сколько же именно эти мерзавцы получили?

– Не беспокойтесь, – ответил он с мутной усмешкой, – порядочно…

По городу общий голос:

– Мир подписан только со стороны России, немцы отказались подписать…

Дурацкое самоутешение.

К вечеру матовым розовым золотом светились кресты церквей.

19 февраля

Критик Коган (П. С.) рассказывал мне о Штейнберге, комиссаре юстиции: старозаветный, набожный еврей, не ест трефного, свято чтит субботу… Затем о Блоке: он сейчас в Москве, страстный большевик, личный секретарь Луначарского. Жена Когана с умилением:

– Но не судите его строго! Ведь он совсем, совсем ребенок!

В пять часов вечера узнал, что в Экономическое Общество Офицеров на Воздвиженке пьяные солдаты бросили бомбу. Убито, говорят, не то шестьдесят, не то восемьдесят человек.

Читал только что привезенную из Севастополя «резолюцию, вынесенную командой линейного корабля „Свободная Россия“. Совершенно замечательное произведение:

– Всем, всем и заграницу Севастополя бесцельно, по-дурному стреляющим!

– Товарищи, вы достреляетесь на свою голову, скоро нечем будет стрелять и по цели, вы все расстреляете и будете сидеть на бобах, а тогда вас, голубчиков, и

пустыми руками заберут.

– Товарищи, буржуазия глотает и тех, кто лежит сейчас в гробах и могилах. Вы же, предатели, стреляльщики, тратя патроны, помогаете ей и остальных глотать. Мы призываем всех товарищей присоединиться к нам и запретить стрельбу всем имеющим конячую голову.

– Товарищи, давайте сделаем так от нынешнего дня, чтобы всякий выстрел говорил нам: «Одного буржуя, одного социалиста уже нет в живых!» Каждая пуля, выпущенная нами, должна лететь в толстое брюхо, она не должна пенить воду в бухте.

– Товарищи, берегите патроны пуще глаза. С одним глазом еще можно жить, но без патронов нельзя.

– Если стрельба при ближайших похоронах возобновится по городу и бухте, помните, что и мы, военные моряки линейного корабля «Свободная Россия», выстрелим один разочек, и тогда не пеняйте на нас, если у всех полопаются барабанные перепонки и стекла в окнах.

– Итак, товарищи, больше в Севастополе пустой, дурной стрельбы не будет, будет стрельба только деловая – в контрреволюцию и буржуазию, а не по воде и воздуху, без которых и минуты никто не может жить!

20 февраля

Ездил на Николаевский вокзал.

Очень, даже слишком солнечно и легкий мороз. С горы за Мясницкими воротами – сизая даль, груды домов, золотые маковки церквей. Ах, Москва! На площади перед вокзалом тает, вся площадь блещет золотом, зеркалами. Тяжкий и сильный вид ломовых подвод с ящиками. Неужели всей этой силе, избытку конец? Множество мужиков, солдат в разных, в каких попало шинелях и с разным оружием – кто с саблей на боку, кто с винтовкой, кто с огромным револьвером у пояса… Теперь хозяева всего этого, наследники этого колоссального наследства – они…

В трамвае, конечно, давка.

Две старухи яростно бранят «правительство»:

– Дают, глаза их накройся, по осьмушке сухарей, небось год валялись, пожуешь – вон, душа горит!

Рядом с ними мужик, тупо слушает, тупо глядит, странно, мертво, идиотски улыбается. На коричневое лицо нависли грязные лохмотья белой манджурки. Глаза белые.

А среди всех прочих, сидящих и стоящих, возвышаясь надо всеми на целую голову, стоит великан военный в великолепной серой шинели, туго перетянутой хорошим ремнем, в серой круглой военной шапке, как носил Александр Третий. Весь крупен, породист, блестящая коричневая борода лопатой, в руке в перчатке держит Евангелие. Совершенно чужой всем, последний могикан.

На обратном пути слепит идущая прямо на солнце улица. Вдруг все приподнимаются и смотрят: сцена древней Москвы, картина Сурикова: толпа мужиков и баб в полушубках, окружившая мужика в армяке цвета ржаного хлеба и в красной телячьей шапке, который поспешно распрягает лежащую и бьющуюся на мостовой лошадь: громадные набитые соломой розвальни, оглобли которых она безобразно вывернула, падая, влезли на тротуар. Мужик орет всем нутром: «Ребят, подцоби!» Но никто не трогается.

В шесть вышли. Встретили М. Говорит, что только что слышал, будто Кремль минируют, хотят взорвать при приходе немцев. Я как раз смотрел в это время на удивительное зеленое небо над Кремлем, на старое золото его древних куполов… Великие князья, терема, Спас-на-Бору, Архангельский собор – до чего все родное, кровное и только теперь как следует почувствованное, понятое! Взорвать? Все может быть. Теперь все возможно.

Слухи: через две недели будет монархия и правительство из Адрианова, Сандецкого и Мищенко: все лучшие гостиницы готовятся для немцев.

Эсеры будто бы готовят восстание. Солдаты будто бы на их стороне.

21 февраля

Была Каменская. Их выселяют, как и сотни прочих. Сроку дано всего 48 часов, а их квартиру и в неделю не соберешь.

Встретил Сперанского. Говорит, что, по сведениям «Русских Ведомостей», в Петербург едет немецкая комиссия – для подсчета убытков, которые причинены немецким подданным, и что в Петербурге будет немецкая полиция; в Москве тоже будет немецкая полиция и уже есть немецкий штаб; Ленин в Москве, сидит в Кремле, поэтому-то и объявлен Кремль на осадном положении.

22 февраля

Утром горестная работа: отбираем книги – что оставить, что продать (собираю деньги на отъезд).

Юлию из «Власти Народа» передавали «самые верные сведения»: Петербург объявлен вольным городом; градоначальником назначается Луначарский. (Градоначальник Луначарский!) Затем: завтра московские банки передаются немцам; немецкое наступление продолжается… Вообще, черт ногу сломит!

Вечером в Большом театре. Улицы, как всегда теперь, во тьме, но на площади перед театром несколько фонарей, от которых еще гуще мрак неба. Фасад театра темен, погребально-печален, карет, автомобилей, как прежде, перед ним уже нет. Внутри пусто, заняты только некоторые ложи. Еврей с коричневой лысиной, с седой подстриженной на щеках бородой и в золотых очках все трепал по заду свою дочку, все садившуюся на барьер девочку в синем платье, похожую на черного барана. Сказали, что это какой-то «эмиссар».

Когда вышли из театра, между колонн черно-синее небо, два-три туманно-голубых пятна звезд и резко дует холодом. Ехать жутко. Никитская без огней, могильно-темна, черные дома высятся в темно-зеленом небе, кажутся очень велики, выделяются как-то по-новому. Прохожих почти нет, а кто идет, так почти бегом.

Что средние века! Тогда по крайней мере все вооружены были, дома были почти неприступны…

На углу Поварской и Мерзляковского два солдата с ружьями. Стража или грабители? И то и другое.

23 февраля

Опять стали выходить «буржуазные газеты» – с большими пустыми местами.

Встретил К. «Немцы будут в Москве через несколько дней. Но страшно: говорят, будут отправлять русских на фронт против союзников». Да, все то же. И все то же тревожное, нудное, неразрешающееся ожидание.

Все говорим о том, куда уехать. Был вечером у Юлия и попал, возвращаясь домой, под обстрел. Бешено садили из винтовок откуда-то сверху Поварской.

У П. были полотеры. Один с черными сальными волосами, гнутый, в бордовой рубахе, другой рябой, буйно-курчавый. Заплясали, затрясли волосами, лица лоснятся, лбы потные. Спрашиваем:

– Ну, что ж скажете, господа, хорошенького?

– Да что скажешь. Все плохо.

– А что ж, по-вашему, дальше будет?

– А Бог знает, – сказал курчавый. – Мы народ темный. Что мы знаем? Я хоть читать умею, а он совсем слепой. Что будет? То и будет: напустили из тюрем преступников, вот они нами и управляют, а их надо не выпускать, а давно надо было из поганого ружья расстрелять. Царя ссадили, а при нем подобного не было. А теперь этих большевиков не сопрешь. Народ ослаб. Я вот курицы не могу зарезать, а на них бы очень просто налягнул. Ослаб народ. Их и всего-то сто тысяч наберется, а нас сколько миллионов, и ничего не можем. Теперь бы казенку открыть, дали бы нам свободу, мы бы их с квартир всех по клокам растащили.

– Там жиды все, – сказал черный.

– И поляки вдобавок. Он и Ленин-то, говорят, не настоящий – энтого давно убили, настоящего-то.

– А про мир с немцами что вы думаете?

– Этого мира не будет. Это скоро прекратят. А поляки опять наши будут. Главное, хлеба нету. Он вчера купил себе пышечку за три рубля, а я так пустой суп и хлебал…

24 февраля

На днях купил фунт табаку и, чтобы он не сох, повесил на веревочке между рамами, между фортками. Окно во двор. Нынче в шесть утра что-то бах в стекло. Вскочил и вижу: на полу у меня камень, стекла пробиты, табаку нет, а от окна кто-то убегает. – Везде грабеж.

Перистые облака, порою солнце, синие клоки луж…

В доме напротив нас молебствие, принесли икону «Нечаянной Радости», поют священники. Очень странно кажется это теперь. И очень трогательно. Многие плакали.

Опять долбят, что среди большевиков много монархистов и что вообще весь этот большевизм устроен для восстановления монархии. Опять чепуха, сочиненная, конечно, самими же большевиками.

Савич и Алексеев будто бы сейчас в Пскове, «формируют правительство».

Звонит на станцию «Власть Народа»: дайте 60–42. Соединяют. Но телефон, оказывается, занят – и «Власть Народа» неожиданно подслушивает чей-то разговор с Кремлем:

– У меня пятнадцать офицеров и адъютант Каледина. Что делать?

– Немедленно расстрелять.

Про анархистов: необыкновенно будто бы веселые и любезные люди; большевицкий «Совет» их весьма боится; глава – Бармаш, вполне сумасшедший кавказец.

В Севастополе «атаман» матросов – некто Ривкин, аршин ростом, клоками борода; участвовал во многих ограблениях и убийствах; «нежнейшей души человек».

Очень многие всегда делают теперь вид, что будто имеют такие сведения, которых ни у кого нет.

В кофейне Филиппова видели будто бы Адрианова, бывшего московского градоначальника. Он будто бы один из главнейших тайных советников в «Совете рабочих депутатов».

25 февраля

Юрка Саблин – командующий войсками! Двадцатилетний мальчишка, специалист по кэк-уоку, конфектно-хорошенький…

Слух: союзники – теперь уж союзники! – вошли в соглашение с немцами, поручили им навести порядок в России.

Опять какая-то манифестация, знамена, плакаты, музыка – и кто в лес, кто по дрова, в сотни глоток:

– Вставай, подымайся, рабочий народ!

Голоса утробные, первобытные. Лица у женщин чувашские, мордовские, у мужчин, все как на подбор, преступные, иные прямо сахалинские.

Римляне ставили на лица своих каторжников клейма: «Cave furem». На эти лица ничего не надо ставить, и без всякого клейма все видно.

И при чем тут Марсельеза, гимн тех самых французов, которым только что изменили самым подлым образом!

26 февраля

Не то мужик, не то рабочий вслух разбирает на углу Поварской объявление о газете «Вечерний Час», читает имена сотрудников. Прочитал и сказал:

– Все одна сволочь. Прославились!

Из редакции «Русских Ведомостей»: Троцкий – немецкий шпион, был сыщиком при нижегородском охранном отделении. Это опубликовал в «Правде» Стучка, по злобе на Троцкого.

27 февраля

Опять праздник – годовщина революции. Но народу нигде нет, и вовсе не потому, что опять нынче зима и метель. Просто уже надоедает.

Какая-то дикая и жуткая ерунда: у нас весь день сам собой звонит, не умолкая, телефон и из него сыплется огонь.

«Разбегаются! Карахан назначен послом в Константинополь. Каменев – в Берлин…»

Читали статейку Ленина. Ничтожная и жульническая – то интернационал, то «русский национальный подъем».

28 февраля

Опять зима. Много снегу, солнечно, стекла домов блестят.

Вести со Сретенки – немецкие солдаты заняли Спасские казармы.

В Петербург будто бы вошел немецкий корпус. Декрет о денационализации банков. Думаю, что опять-таки это все сами большевики нас дурачат.

А телефон и нынче звонит – трещит, звонит и сыплет красные огненные искры!

1 марта

Вечер у Шкляра.

Идя к нему, видели адвоката Тесленко. Подъехал к своему дому на красной лошади. Приостановились, поздоровались. Бодр, говорит, что большевики заняты сейчас одним: «награбить как можно больше денег, так как сами отлично знают, что царствию их конец».

У Шкляра, кроме нас, Дерман и А. Е. Грузинский.

Грузинскому рассказывал в трамвае солдат: «Хожу без работы, пошел в совет депутатов просить места – мест, говорят, нету, а вот тебе два ордера на право обыска, можешь отлично поживиться. Я их послал куда подале, я честный человек…»

Дерман получил сведения из Ростова: корниловское движение слабо. Грузинский возражал: напротив, оно крепнет и растет. Дерман прибавил: «Большевики творят в Ростове ужасающие зверства. Могилу Каледина разрыли, расстреляли 600 сестер милосердия…» Ну, если не шестьсот, то все-таки, вероятно, порядочно. Не первый раз нашему христолюбивому мужичку, о котором сами же эти сестры распустили столько легенд, избивать их, насиловать.

Говорят, что Москва будет во власти немцев семнадцатого марта. Градоначальником будет Будберг.

Повар от Яра говорил мне, что у него отняли все, что он нажил за тридцать лет тяжкого труда, стоя у плиты, среди девяностоградусной жары. «А Орлов-Давыдов, – прибавил он, – прислал своим мужикам телеграмму, – я сам ее читал: жгите, говорит, дом, режьте скот, рубите леса, оставьте только одну березку, – на розги, – и елку, чтобы было на чем вас вешать».

Слух, что в Москве немцы организовали сыскное отделение; следят будто за малейшим шагом большевиков, все отмечают, все записывают.

Вести из нашей деревни: мужики возвращают помещикам награбленное.

В последнем, верно, есть правда. Слышу на улицах:

– Нет, теперь солдаты стали в портки пускать. То все бахвалились, беспечничали, – пускай, мол, придет немец, черт с ним, – а теперь, как стало до серьезного доходить, здорово побаиваются. Большое, говорят, наказание нам будет, да и поделом, по правде сказать: уж очень мы освинели!

Да, если бы в самом деле повеяло чем-нибудь «серьезным», живо бы эта «стихийность великой русской революции» присмирела. Как распоясалась деревня в прошлом году летом, как жутко было жить в Васильевском! И вдруг слух: Корнилов ввел смертную казнь – и почти весь июль Васильевское было тише воды, ниже травы. А в мае, в июне по улице было страшно пройти, каждую ночь то там, то здесь красное зарево пожара на черном горизонте. У нас зажгли однажды на рассвете гумно и, сбежавшись всей деревней, орали, что это мы сами зажгли, чтобы сжечь деревню. А в полдень в тот же день запылал скотный двор соседа, и опять сбежались со всего села, и хотели меня бросить в огонь, крича, что это я поджег, и меня спасло только бешенство, с которым я кинулся на орущую толпу.

2 марта

«Развратник, пьяница Распутин, злой гений России». Конечно, хорош был мужичок. Ну, а вы-то, не вылезавшие из «Медведей» и «Бродячих Собак»?

Новая литературная низость, ниже которой падать, кажется, уже некуда: открылась в гнуснейшем кабаке какая-то «Музыкальная табакерка» – сидят спекулянты, шулера, публичные девки и лопают пирожки по сто целковых штука, пьют ханжу из чайников, а поэты и беллетристы (Алешка Толстой, Брюсов и так далее) читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные. Брюсов, говорят, читал «Гаврилиаду», произнося все, что заменено многоточиями, полностью. Алешка осмелился предложить читать и мне – большой гонорар, говорит, дадим.

«Вон из Москвы!» А жалко. Днем она теперь удивительно мерзка. Погода мокрая, все мокро, грязно, на тротуарах и на мостовой ямы, ухабистый лед, про толпу же и говорить нечего. А вечером, ночью пусто, небо от редких фонарей чернеет тускло, угрюмо. Но вот тихий переулок, совсем темный, идешь и вдруг видишь открытые ворота, за ними, в глубине двора, прекрасный силуэт старинного дома,

мягко темнеющий на ночном небе, которое тут совсем другое, чем над улицей, а перед домом столетнее дерево, черный узор его громадного раскидистого шатра…

Читал новый рассказ Тренева («Батраки»). Отвратительно. Что-то, как всегда теперь, насквозь лживое, рассказывающее о самых страшных вещах, но ничуть не страшное, ибо автор не серьезен, изнуряет «наблюдательностью» и такой чрезмерной «народностью» языка и всей вообще манеры рассказывать, что хочется плюнуть. И никто этого не видит, не чует, не понимает – напротив, все восхищаются. «Как сочно, красочно!»

«Съезд Советов». Речь Ленина. О, какое это животное!

Читал о стоящих на дне моря трупах, – убитые, утопленные офицеры. А тут «Музыкальная табакерка».

3 марта

Немцы взяли Николаев и Одессу. Москва, говорят, будет взята семнадцатого, но не верю и все собираюсь на юг.

Маяковского звали в гимназии Идиотом Полифемовичем.

5 марта

Серо, редкий снежок. На Ильинке возле банков туча народу – умные люди выбирают деньги. Вообще многие тайком готовятся уезжать.

В вечерней газете – о взятии немцами Харькова. Газетчик, продававший мне газету, сказал:

– Слава Тебе Господи. Лучше черти, чем Ленин.

7 марта

В городе говорят:

– Они решили перерезать всех поголовно, всех до семилетнего возраста, чтобы потом ни одна душа не помнила нашего времени.

Спрашиваю дворника:

– Как думаешь, правда?

Вздыхает:

– Все может быть, все может быть.

– И ужели народ допустит?

– Допустит, дорогой барин, еще как допустит-то! Да и что ж с ними сделаешь? Татары, говорят, двести лет нами владели, а ведь тогда разве такой жидкий народ был?

Шли ночью по Тверскому бульвару: горестно и низко клонит голову Пушкин под облачным с просветами небом, точно опять говорит: «Боже, как грустна моя Россия!»

И ни души кругом, только изредка солдаты и бляди.

8 марта

Катерина Павловна, жена Горького, про Спиридонову:

– Меня никогда не влекло к ней. Революционная ханжа, истеричка. Дурное издание Фигнер, которую она прежде сознательно копировала…

Да, а ведь какой героиней была одно время эта Спиридонова.

Великолепные дома возле нас (на Поварской) реквизируются один за одним. Из них все вывозят и вывозят куда-то мебель, ковры, картины, цветы, растения – нынче весь день стояла на возу возле подъезда большая пальма, вся мокрая от дождя и снега, глубоко несчастная. И все привозят, внедряют в эти дома,

долженствующие быть какими-то «правительственными» учреждениями, мебель новую, конторскую…

Неужели так уверены в своем долгом и прочном существовании?

«Поношение сокрушило сердце мое…»

9 марта

Нынче В.В.В. – он в длинных сапогах, в поддевке на меху, – все еще играет в «земгусара», – понес опять то, что уже совершенно осточертело читать и слушать:

– Россию погубила косная, своекорыстная власть, не считавшаяся с народными желаниями, надеждами, чаяниями… Революция в силу этого была неизбежна…

Я ответил:

– Не народ начал революцию, а вы. Народу было совершенно наплевать на все, чего мы хотели, чем мы были недовольны. Я не о революции с вами говорю – пусть она неизбежна, прекрасна, все, что угодно. Но не врите на народ – ему ваши ответственные министерства, замены Щегловитых Малянтовичами и отмены всяческих цензур были нужны как летошний снег, и он это доказал твердо и жестоко, сбросивши к черту и временное правительство, и учредительное собрание, и «все, за что гибли поколения лучших русских людей», как вы выражаетесь, и ваше «до победного конца».

10 марта

Люди спасаются только слабостью своих способностей – слабостью воображения, внимания, мысли, иначе нельзя было бы жить.

Толстой сказал про себя однажды:

– Вся беда в том, что у меня воображение немного живее, чем у других…

Есть и у меня эта беда.

Грязная темная погода, иногда летает снег.

Отбирали книги на продажу, собираю деньги, уезжать необходимо, не могу переносить этой жизни, – физически.

Вечером у Веселовского. Рассказывал про Фриче, которого видел на днях. «Да, да, давно ли это была самая жалкая и смиренная личность в обшарпанном сюртучишке, а теперь – персона, комиссар иностранных дел, сюртук с атласными отворотами!» Играл на фисгармонии Баха, венгерские народные песни. Очаровательно. Потом смотрели старинные книги, – какие виньетки, заглавные буквы! И все это уже навеки погибший золотой век. Уже давно во всем идет неуклонное падение.

Как злобно, неохотно отворял нам дверь швейцар! Поголовно у всех лютое отвращение ко всякому труду.

11 марта

Жена архитектора Малиновского, тупая, лобастая, за всю свою жизнь не имевшая ни малейшего отношения к театру, теперь комиссар театров: только потому, что они с мужем друзья Горького по Нижнему. Утром были в «Книгоиздательстве писателей», и Гонтарев рассказывал, как Шкляр битый час ждал Малиновскую где-то у подъезда, когда же подкатил наконец автомобиль с Малиновской, кинулся высаживать ее с истинно холопским подобострастием.

Грузинский сказал:

– Я теперь всеми силами избегаю выходить без особой нужды на улицу. И совсем не из страха, что кто-нибудь даст по шее, а из страха видеть теперешние уличные лица.

Понимаю его как нельзя более, испытываю то же самое, только, думаю, еще острее.

Ветер разносит редкие, совсем весенние облака по бледно голубеющему небу, около тротуаров блестит, бежит весенняя вода.

12 марта

Встретил адвоката Малянтовича. И этот был министром. И таким до сих пор праздник, с них все как с гуся вода. Розовый, оживленный:

– Нет, вы не волнуйтесь. Россия погибнуть не может уж хотя бы по одному тому, что Европа этого не допустит: не забывайте, что необходимо европейское равновесие.

Был (по делу издания моих сочинений «Парусом») у Тихонова, вечного прихлебателя Горького. Да, очень странное издательство! Зачем понадобилось Горькому завести этот «Парус» и за весь год издать только книжечку Маяковского? Зачем Горький купил меня, заплатил семнадцать тысяч вперед и до сих пор не выпустил ни одного тома? Что скрывается под вывеской «Паруса»? И, особенно, в каких же отношениях с большевиками вся эта компания – Горький, Тихонов, Гиммер-Суханов? «Борются» якобы с ними, а вот Тихонов и Гиммер приехали и остановились в реквизированной большевиками «Национальной Гостинице», куда я вошел через целую цепь солдат, сидящих на площадках лестниц с винтовками, после того, как получил пропуск от большевистского «коменданта» гостиницы. Тихонов и Гиммер в ней как дома. На стенах портреты Ленина и Троцкого. Насчет дела Тихонов вертелся: «Вот-вот начнем печатать, не беспокойтесь».

Рассказывал, как большевики до сих пор изумлены, что им удалось захватить власть и что они все еще держатся:

– Луначарский после переворота недели две бегал с вытаращенными глазами: да нет, вы только подумайте, ведь мы только демонстрацию хотели произвести, и вдруг такой неожиданный успех!

13 марта

Какой позор! Патриарх и все князья церкви идут на поклон в Кремль!

Видел В. В. Горячо поносил союзников: входят в переговоры с большевиками вместо того, чтобы идти оккупировать Россию!

Обедал и вечер провел у первой жены Горького, Екатерины Павловны. Был Бах (известный революционер, старый эмигрант), Тихонов и Миролюбов. Этот все превозносил русский народ, то есть мужиков: «Милосердный народ, прекрасный народ!» Бах говорил (в сущности, не имея ни малейшего понятия о России, потому что всю жизнь прожил за границей):

– Да о чем вы спорите, господа? А во французской революции не было жестокостей? Русский народ – народ как все народы. Есть, конечно, и отрицательные черты, но масса и хорошего…

Возвращались с Тихоновым. Он дорогой много рассказывал о большевицких главарях, как человек очень близкий им: Ленин и Троцкий решили держать Россию в накалении и не прекращать террора и гражданской войны до момента выступления на сцену европейского пролетариата. Их принадлежность к немецкому штабу? Нет, это вздор, они фанатики, верят в мировой пожар. И всего боятся как огня, везде им снятся заговоры. До сих пор трепещут и за свою власть, и за свою жизнь. Они, повторяю, никак не ожидали своей победы в октябре. После того, как пала Москва, страшно растерялись, прибежали к нам в «Новую Жизнь», умоляли быть министрами, предлагали портфели…

15 марта

Все та же морозная погода. И нигде не топят, холод на квартирах ужасный.

Закрыты «Русские Ведомости» – из-за статьи Савинкова.

Многим все кажется, что Савинков убьет Ленина.

«Комиссар по делам печати» Подбельский закрыл и привлек к суду «Фонарь» – «за помещение статей, вносящих в население тревогу и панику». Какая забота о населении, поминутно ограбляемом, убиваемом!

22 марта

Вчера вечером, когда за мокрыми деревьями уже заблестели огни, в первый раз увидал грачей.

Нынче сыро, пасмурно, хотя в облаках много свету.

Все читаю, все читаю, чуть не плача от какого-то злорадного наслаждения, газеты. Вообще этот последний год будет стоить мне, верно, не меньше десяти лет жизни!

Ночью в черно-синем небе пухлые белые облака, среди них редкие яркие звезды. Улицы темны. Очень велики в небе темные, сливающиеся в один дома; их освещенные окна мягки, розовы.

23 марта

Вся Лубянская площадь блестит на солнце. Жидкая грязь брызжет из-под колес. И Азия, Азия – солдаты, мальчишки, торг пряниками, халвой, маковыми плитками, папиросами. Восточный крик, говор – и какие все мерзкие даже и по цвету лица, желтые и мышиные волосы! У солдат и рабочих, то и дело грохочущих на грузовиках, морды торжествующие.

Старик букинист Волнухин, в полушубке, в очках. Милый, умница; грустный, внимательный взгляд.

Именины Н. Говорили, что все слова на «ны» требуют выпивки. Крепок еще «старый режим».

«Кабак» Премирова. Несомненно, талант. Да что с того? Литературе конец. А в Художественном Театре опять «На Дне». Вовремя! И опять этот осточертевший Лука!

К. П. (Пешкова, жена Горького) до сих пор твердо убеждена, что Россию может спасти только Минор.

Меньшевистская газета «Вперед». Все одно и то же, все одно и то же!

Жены всех комиссаров тоже все сделаны комиссарами.

Рота красногвардейцев. Идут вразнобой, спотыкаясь, кто по мостовой, кто по тротуару. «Инструктор» кричит: «Смирно, товарищи!»

Газетчик, бывший солдат:

– Ах, сволочь паскудная! На войну идут и девок с собой берут! Ей-Богу, барин, гляньте – вот один под ручку со своей шкурой!

Очень черная весенняя ночь. Просветы в облаках над церковью, углубляющие черноту, звезды, играющие белым блеском.

Особняк Цетлиных на Поварской занят анархистами. Над подъездом черная вывеска с белыми буквами. Внутри всюду освещено – великолепные матовые люстры за гардинами.

24 марта

Теперь, несчастные, говорим о выступлении уже Японии на помощь России, о десанте на Дальнем Востоке; еще о том, что рубль вот-вот совсем ничего не будет стоить, что мука дойдет до 1000 р. за пуд, что надо делать запасы… Говорим – и ничего не делаем: купим два фунта муки и успокоимся.

У Н. В. Давыдова в Большом Левшинском. Желтоватый домик (бывший писателя Загоскина) с черной крышей во дворе, за железной оградой с железными черными чашами на воротах. Бирюзовое небо в сети деревьев. Старая Москва, которой вот-вот конец навеки.

В кухне у П. солдат, толстомордый, разноцветные, как у кота, глаза. Говорит, что, конечно, социализм сейчас невозможен, но что буржуев все-таки надо перерезать. «Троцкий молодец, он их крепко по шее бьет».

Серьезная сухая дама и девочка в очках. Торгуют на улице папиросами.

Купил книгу о большевиках, изданную «Задругой». Страшная галерея каторжников! У молодого Луначарского шея пол-аршина длины.

Одесса, 1919 г.

12 апреля (старого стиля)

Уже почти три недели со дня нашей погибели.

Очень жалею, что ничего не записывал, нужно было записывать чуть не каждый момент. Но был совершенно не в силах. Чего стоит одна умопомрачительная неожиданность того, что свалилось на нас 21 марта! В полдень 21-го Анюта (наша горничная) зовет меня к телефону. «А откуда звонят?» – «Кажется, из редакции» – то есть из редакции «Нашего Слова», которое мы, прежние сотрудники «Русского Слова», собравшиеся в Одессе, начали выпускать 19 марта в полной уверенности на более или менее мирное существование «до возврата в Москву». Беру трубку: «Кто говорит?» – «Валентин Катаев. Спешу сообщить невероятную новость: французы уходят». – «Как, что такое, когда?» – «Сию минуту». – «Вы с ума сошли?» – «Клянусь вам, что нет. Паническое бегство!» Выскочил из дому, поймал извозчика и глазам своим не верю: бегут нагруженные ослы, французские и греческие солдаты в походном снаряжении, скачут одноколки со всяким воинским имуществом… А в редакции – телеграмма: «Министерство Клемансо пало, в Париже баррикады, революция…»

Двенадцать лет тому назад мы с Верой приехали в этот день в Одессу по пути в Палестину. Какие сказочные перемены с тех пор! Мертвый, пустой порт, мертвый, загаженный город… Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, – всю эту мощь, сложность, богатство, счастье…

Перед тем как проснуться нынче утром, видел, что кто-то умирает, умер. Очень часто вижу теперь во сне смерти – умирает кто-нибудь из друзей, близких, родных, особенно часто брат Юлий, о котором страшно даже и подумать: как и чем живет, да и жив ли? Последнее известие о нем было от 6 декабря прошлого года. А письмо из Москвы к В. от 10 августа пришло только сегодня. Впрочем, почта русская кончилась уже давно, еще летом 17-го года: с тех самых пор, как у нас впервые, на европейский лад, появился «министр почт и телеграфов…». Тогда же появился впервые и «министр труда» – и тогда же вся Россия бросила работать. Да и сатана Каиновой злобы, кровожадности и самого дикого самоуправства дохнул на Россию именно в те дни, когда были провозглашены братство, равенство и свобода. Тогда сразу наступило исступление, острое умопомешательство. Все орали друг на друга за малейшее противоречие: «Я тебя арестую, сукин сын!» Меня в конце марта 17-го года чуть не убил солдат на Арбатской площади – за то, что я позволил себе некоторую «свободу слова», послав к черту газету «Социал-Демократ», которую навязывал мне газетчик.

Мерзавец солдат прекрасно понял, что он может сделать со мной все, что угодно, совершенно безнаказанно, – толпа, окружавшая нас, и газетчик сразу же оказались на его стороне: «В самом деле, товарищ, вы что же это брезгуете народной газетой в интересах трудящихся масс? Вы, значит, контрреволюционер?» – Как они одинаковы, все эти революции! Во время французской революции тоже сразу была создана целая бездна новых административных учреждений, хлынул целый потоп декретов, циркуляров, число комиссаров, непременно почему-то комиссаров, – и вообще всяческих властей стало несметно, комитеты, союзы, партии росли как грибы, и все «пожирали друг друга», образовался совсем новый, особый язык, «сплошь состоящий из высокопарнейших восклицаний вперемешку с самой площадной бранью по адресу грязных остатков издыхающей тирании…». Все это повторяется потому прежде всего, что одна из самых отличительных черт революций – бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана. В человеке просыпается обезьяна.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Очевидно, опечатка. (Ред.)

Купить: https://tellnovel.com/ivan-bunin/okayannye-dni

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити